

О ПРИРОДЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА У Н. В. ГОГОЛЯ И Ф. КАФКИ

АЛЕКСАНДР ИВАНИЦКИЙ (МОСКВА)

Сходства художественных миров Гоголя и Кафки основано, в том числе, на подобии природы и роли государства у двух писателей. Непреодолимое расстояние между имперским центром и глубинкой рождает у ее обитателей два противоположных чувства в отношении имперской власти: страх и влечение. Подспудно управляющие поведением героев гоголевского «Ревизора», эти чувства героев и их взаимовлияние открыто и эпически описываются Кафкой в притче «На строительстве Китайской стены» и ряде мотивно примыкающих к ней миниатюр: «Отвергнутое ходатайство», «Рекрутские наборы», «Экзамен» и др.

Ключевые слова: Гоголь, Кафка, имперский центр, государство, «маленький» человек, страх, влечение, пространство, судьба.

Гоголя и Кафку не раз сравнивали в аспекте взаимоотношений государства и «маленького» человека¹. В рамках этой темы обращает на себя внимание образ самого физического пространства огромной империи, которое герои обоих авторов ощущают некоей фундаментальной «рамой» своей жизни и судьбы. В этом плане любопытны смысловые переключки повести «Страшная месть» и комедии «Ревизор» с программной притчей Кафки «Как строилась китайская стена» и мотивно примыкающими к ней миниатюрами «К вопросу о законах», «Отклоненное ходатайство», «Рекрутские наборы», «Экзамен», «Соседняя деревня», «Ходатай», «Посещение рудника» и нек. др., включенными им в сборник «Сельский врач» либо посмертно опубликованными в «Рассказах из наследия».

1.

¹ См., напр., работы: ЮРКЕНЕНЕ 1989, МИЛЕШИН 1990, МАНН 1995, МАНН 1999, АВАКУМОВА 2005.

В «Ревизоре» коллективный самообман чиновников, поверивших в ревизорство Хлестакова, рожден их переживанием двум взаимодополняющих признаков высшей власти. Первый: *неотвратимость* властного действия полицейского государства – судьи, прокурора и палача в одном лице, рождающая безмерный и безотчетный страх перед ним (здесь и далее курсив мой – А. И.). Второй: *недостижимость* властного центра (Петербурга), рождающая столь же безмерное *влечение* к нему. Приняв под влиянием страха «сосульку, тряпку... за важного человека»² и легко подружившись с ним, Городничий очень скоро оказывается захвачен непреодолимым желанием превратить «ревизора» Хлестакова в мост между собою и Петербургом (им овладевают мечты о браке дочери с Хлестаковым, генеральстве и переезде в столицу). «Миражная», по определению Аполлона Григорьева, интрига «Ревизора» повторяется в I томе «Мертвых душ» далее в тексте – МД1), где чиновники, стоящие у подножия имперской иерархии, также выдвигают фантастические версии о «ревизорстве» Чичикова, связывая загадочного езжего героя как с недостижимой и влекущей столицей, так и с неотвратимой столичной властью.

Образ недостижимого властного центра рожден непреодолимостью *пространства* между столицей и уездным городком, откуда, по словам городничего, «...хоть три года скачи – ни до какого государства не доедешь» (IV, 12). И в МД1 глубинка (то бишь Россия) – это те же безбрежные и потому непреодолимые «...пустые поля... //...гладь и пустота окрестных полей» (VI, 21, 92). Дороги, проложенные через эту «пустоту», – никуда не ведущий лабиринт. При выезде Чичикова от Коробочки они «...расползались во все стороны, как пойманные раки, если выпустишь их из мешка» (VI, 60). Неслучайно в МД2 счастливая деревушка лежит «вдали от *подлых* дорог» (VII, 21). Само пространство глубинки «расползается» и «разваливается»: «...местами... дома казались затерянными среди широкой, как море, улицы; местами сбивались в кучу...» (VI, 11). В авторском обращении к Руси в финале МД1 это неупорядоченное пространство мифологизируется автором: «...разбросанно и неприютно в тебе...» (VI, 220). Петербург же в «Петербургских записках 1836 года» – это «край света», куда «забросило русскую столицу» (VIII, 177). Вырваться из провинциального «болота» (в том числе и в буквальном смысле болота) можно лишь в мечте, подобной

² ГОГОЛЬ, Н. В.: Полное собрание сочинений и писем в 14-ти тт. Москва-Ленинград 1937-1952, том IV, с. 93-94. Далее ссылки на это издание – в тексте статьи. Римская цифра – номер тома; арабская – номер страницы.

самообману Чартокуцкого, вообразившего себя обладателем изумительной коляски в одноименной повести.

Недостижимость имперской власти наделяют ее в глазах глубинки значением нерукотворного чуда и делают «бескорыстно» желанной. Если для Городничего карьерный азарт в отношении Хлестакова – оборотная сторона административного страха, то обожествление Хлестакова *не служащими* Бобчинским и Добчинским, которые, как известно, и «открыли» в нем ревизора, обнажает *пространственное* отношение подданного – провинциала к столице: не только *вершине* иерархической пирамиды, но и бесконечно далекому *центру*. Их задушевная цель – *созерцание, приобщение и весть*. Бобчинский готов «петушком» бежать за дрожками с Городничим и Хлестаковым, чтобы в щелочку подглядеть властные «*поступки*» ревизора, очевидно воспринимаемые им как *таинство*. А во время личной аудиенции просит Хлестакова сообщить при дворе, «вельможам разным», и даже самому государю о его, Бобчинского, существовании (IV, 66-67).

Как человек украинского мира, Гоголь ощущал себя культурным чужаком в петербургской империи и в то же время стремился максимально освоиться в ней, то есть стать своим в ней и сделать ее своей для себя. Это в частности, проявлялось в преодолении страха перед ее размерами. В 1846 году, спустя десять лет после постановки «Ревизора», он пишет «Развязку „Ревизора“», где переосмысляет собственную комедию в барочно – спиритуальном ключе и превращает безбрежное российское пространство в интеллектуальное пространство знака. Согласно «Развязке...», город, в котором происходит действие комедии, – «...это наш же душевный город и сидит он у всякого из нас». Чиновники – «...наши страсти, ворующие казну души нашей». Подлинный Ревизор, прибывший «по Высочайшему повелению», – это совесть, посещающая нас «у дверей гроба» (IV, 130-134). Однако подспудный и преодолеваемый страх перед русской «чуждой, незнакомой земле далью» (VI, 220), которую Гоголь передает героям «Ревизора», сначала звучит в их речи, а затем оформляется в поведенческую «стратегию», создающую интригу комедии.

Вторым путем осмысления своей чужеродности огромной, хотя и родной земле служит у Гоголя мотив родового греха и проклятия, искупаемого жертвой. Если влечение маленького человека к власти рождено у Гоголя непреодолимостью пространственной *горизонтальности* между периферией центром, то страх перед неотвратимостью властного суда имеет в творчестве Гоголя мифологическую подоплеку, где то же земляное пространство предстает иерархической *вертикалью*. Она обнажена в повести «Страшная месть» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832). Олицетворенная земля, по точному определению М. Виролайнен (1979, 40), «главная мифо-

логема Гоголя», символизирована в экспозиции повести «лесным дедом»: «Те леса, что стоят на холмах (у Днепра – А.И.), – не леса: то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда. Под нею в воде моется борода... Те луга не луга, то зеленый пояс...» (I, 246). Земля рождает череду поколений, сосуществующих в пространстве, как ветви дерева, и образующих властно-судебную пространственно-временную пирамиду. Каждое колено управляет младшим и в то же время управляется старшим и подсудно ему. Последний в роду (колдун, несущий в себе родовое проклятие) оказывается низшей ступенью иерархии и последней (главной) жертвой ее властно-судебной руки.

Растительная природа человека регулярно выражается в гоголевском языке. Так, Лука Лукич Хлопов в «Ревизоре», по оценке Хлестакова, «протухнул насквозь луком» (IV, 92), от которого явно произошел и получил имя. Руки одного из гостей в «Коляске» похожи «на два выросшие картофеля...» (III, 183). Головы двух Иванов в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» похожи на обращенные верх и вниз редьки (II, 226). Люди выступают временным, неустойчивым покровом земли, формой ее «цветения». Так, сельский голова в «Майской ночи...», большой ловелас, часто «...заходил в поле, усеянное жнищами» (I, 161)³.

Если человек – растительный «побег» земли, а властный центр выступает стволем либо корнем, то движения героя от периферии к центру невозможно так же, как движение *назад во времени*. Иными словами низший чиновник империи оказывается в том же положении, что и младшее колено олицетворенной земли в «Страшной мести»⁴.

2.

Если у Гоголя пространственная недостижимость власти проявляется подспудно, а «земляная» подоплека ее неотвратимости дана в «Страшной мести» открыто, то у Кафки в цикле «...Китайской стены» все оказывается наоборот.

³ Об архаическом мотиве связи всего сущего с олицетворенной землей как форме мировосприятия и поэтики Гоголя см. подробнее: Ермаков 1923, 136; Фиалкова 1986, 57.

⁴ В финале МД1 производится, по сути, обратное «Страшной мести» преобразование смысла: безбрежное пространство не обращают свою мощь и энергию на лирического героя, а замыкаются на нем: «И грозно объемлет меня могучее пространство, *страшную силою отразь во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи...*» (VI, 221. Курсив мой – А. И.).

Подобно гоголевскому Петербургу, Пекин абсолютно недостижим для жителей – провинциалов безбрежного кафковского Китая: «Так обширна наша страна, что никакой сказке не охватить ее, едва удастся небу дотянуться от края до края, и Пекин на ней – только точка, а дворец императора – только точечка»⁵. Поэтому «... Пекин людям в деревне более чужд, чем потусторонний мир» (551). Недостоверность любых сведений о нем искажается многократной передачей на определенных рубежах пространства и отсюда – времени (из поколения в поколение). Наряду с пространственной и административной, запрограммирована интеллектуальная непостижимость власти для подданного. По признанию хрониста «...стены», углубление подчиненного в замыслы начальников дальше определенно предела затопит безумца, как разлив весенней реки. Не зная смысла власти, слуга не может и не должен знать смысла собственной службы, что отражает миниатюра «Экзамен». Низший чиновник выдерживает квалификационный экзамен именно потому, что не понял ни одного вопроса и что вообще это были вопросы экзамена, а собеседник – экзаменатором: дело происходило в пивной. Власть повсеместна, так как равна бытию.

Но чем дальше подданный от власти пространственно и административно, тем желанней для него соединение с нею: народу «...никак не удастся извлечь на свет затерявшийся в Пекине образ императора и во всей его живости и современности прижать к своей верноподданнической груди, которая *только и жаждет хоть раз ощутить это прикосновение и в нем раствориться*» (552). Отделенный от власти непреодолимой пространственной бездной, подданный становится тем ближе он к ней душевно – заменяя реальную власть ее фантазируемым образом, и вступая в непрерывный и пожизненный диалог с ним. Это и делает власть абсолютной: ее фантазируемый образ обожествляется подданным, став интимной сердцевинной его естества.

В новеллах «Рекрутские наборы» и «Отклоненное ходатайство» пределом стремления низших подданных является *приобщение* властному центру *без приближения* к нему. Обитатели богом забытой деревни каждый год собираются в день подачи ходатайств либо рекрутских наборов, – заранее зная, что им будет отказано. Тем не менее, они всякий раз волнуются и ухищряются, как в первый раз, – и миг отказа либо изгнания является для них искомым моментом экстаза: непосредственного контакта с мистическим властным центром, прекрасным именно своей недостижимостью.

⁵ КАФКА, Ф.: Роман. Новеллы. Притчи. Москва 1965, с. 547. Далее ссылки на это издание – в тексте статьи.

Как и у Гоголя, абсолютность власти связана у Кафки с ее «*генеалогией*». Хронист «...китайской стены» уверен, что «...руководство (стройки) существует с незапамятных времен»; что «руководители существовали искони, и решение построить стену – тоже». Именно поэтому начальство знает о смысле стройки и о самих строителях больше, чем те сами знают о себе: «...мы... лишь расшифровывая распоряжения верховного руководства, познали самих себя...//... [Начальники] знают нас. Они... видят, как мы сидим все вместе в низкой хижине, и молитва, которую вечером глава семьи читает в кругу близких, [им] приятна или неприятна...» (543, 545). Но если начальство стройки, идущей «искони», от начала времен, современно как этому началу, так и нынешнему поколению строителей, – значит, оно представляет собою божественных «первопредков» китайского этноса. Последний, по их воле, существует во времени и распространяется в пространстве – посредством строительства стены! Следовательно, каждое поколение китайцев / строителей существует одновременно со всеми предшествующими и последующими, – но только в своем пространственно-временном континууме, воплощенном в определенном участке построенной стены. Поэтому движение *вперед* возможно лишь в пределах своего «хронотопа». Селянину не хватит жизни, чтобы доехать до «Соседней деревни» в одноименной миниатюре из сборника «Сельский врач», – потому что та отмечает собою рубеж жизни уже следующего поколения.

Такое *распространение* рода фактически делает его *деревом*, подобным олицетворенной земле «Страшной мести», где все поколения – неотделимая часть корня / ствола, то есть столичной имперской власти. Поскольку каждая нисходящая ступень – часть «старшей», – распространение целого, по сути, условно. Поэтому вестник, отправленный императором с посланием в отдаленную провинцию, не успеет за свою жизнь покинуть не только Пекина, но даже внутренних покоев, за каждым уровнем которых лежит другой, многократно его превосходящий: дворец, внутренний город и т. д. Каждый проходимый вестником сегмент пространства – часть предыдущего; каждый его шаг короче прежнего.

А возвращение в некогда оставленное место невозможно в принципе – как движение назад во времени. Так, герой новеллы «Возвращение домой» не может достоверно решить, в свой ли дом он вернулся и своего ли отца там видит. Все на узнаваемых местах, но значение происходящего ему неизвестно; между ним и домашними лежит некая преграда. Все заняты своими делами, которые герой частично забыл, частично никогда не знал. И эту тайну сидящие в кухне охраняют от вернувшегося сына – как и он ох-

ранял бы ее от вновь вошедшего, то есть отстоящего еще дальше во времени и, тем самым, в пространстве.

Генеалогическая природа властной иерархии как лестницы поколений по-своему отражается в миниатюре «Посещение рудника». Чиновники, *впервые* спустившиеся в рудник, знают его устройство *лучше*, чем шахтеры, проработавшие там многие годы и десятилетия. Это говорит о том, что подземное пространство вместе с его обитателями – часть некоего высшего и *старшего* пространства, неизвестного и недоступного шахтерам, но некогда породившего их вместе с их подземельем. Инженеры – такие же первые поколения рода, как и начальники стройки стены. Власть, которая в «...китайской стене» распространялась по горизонтали, в «...руднике» распространяется по вертикали вниз, в землю, опять-таки порождая все новые подчиненные поколения. Если строителям стены был заказан путь назад, то шахтерам – навстречу.

Как и у Гоголя, власть выступает у Кафки не только непреодолимой административной преградой, но и засасывающей судебной-карательной воронкой. Ярче всего это дано в миниатюре «Стук в ворота». Прохожий из озорства постучал в ворота попавшегося ему постоянного двора. На стук появляется хозяин, потом всадники, судебные чиновники и свидетели; разбирательство затрагивает сначала поступок и намерения прохожего, потом постепенно распространяются на всю его жизнь, вскрываются все новые его проступки, – и, наконец, он сознает, что из этих стен ему не выйти никогда. Любая социальная точка пространства является не только рубежом защиты центра от периферии, но и его непрерывного и неотвратимого суда над нею. Это отражено в новелле «Ходатай», своего рода зеркальном отражении «Экзамена». Любой подчиненный – потенциальный подсудимый, который поэтому всегда нуждается в *ходатае*. Судебная власть властного/отцовского пространства столь же повсеместна, как и управляющая. Соответственно, ходатая можно найти везде. Но где искать – неизвестно.

Гоголя и Кафку объединяла судьба этнокультурных чужаков, ищущих смысл своего бытия в огромной империи, чтобы «онтологически» не исчезнуть в ней. Но сами эти империи, и Австрийская и Русская, продвигаясь в Новое Время вглубь чужеродных земель, все слабее осознавали не столько политические, сколько смысловые границы своего исторического бытия: «Кто мы; откуда; куда и зачем мы идем?». Возможно, именно поэтому оба писателя мысленно преобразовывали империю и ее власть в своего рода «мировое древо», которое, даже доходя до пределов мироздания, остается равным себе и нерушимо связанным с самыми дальними и младшими своими побегими.

